

В. Ропшин

В тюрьме. Посмертный рассказ



Борис Викторович Ропшин
В тюрьме. Посмертный рассказ

Ершов В.Г.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139367

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

4

* * *

10

**Борис Викторович
Савинков
В тюрьме.
*Посмертный рассказ***

ПРЕДИСЛОВИЕ

Незадолго до своей трагичной смерти Б. Савинков окончил повесть, ныне предлагаемую вниманию читателя. Повесть можно было назвать не общим холодным названием «В тюрьме», а страшным клеймящим словом «Мразь», которое сам автор употребляет по отношению к своему герою. Бесконечной гадливостью проникнут был Савинков даже в тяжкие дни, которые он в то время переживал, к своим недавним единомышленникам и тем, на кого он вздумал опереться в своей ненависти на непонятную им великую мировую силу. Трудно сказать, имелись ли у Савинкова какие-нибудь конкретные наблюдения для создания типичной фигуры полковника Гвоздева, или эта фигура явилась сгустком многочисленных прежних встреч и воспоминаний, а сам факт – плодом озлобленной фантазии. Во всяком случае ясно, что Савинкову незачем было описывать полковника Гвоздева,

если бы он считал, что это – отдельная пошлая личность. Нет, во всех прежних произведениях Савинкова, как и здесь, конечно, он преследует более широкую цель, – выводить типы, выводить символы. И в этом случае что означает рассказ «В тюрьме»? Его значение полностью сказывается в последних словах: «Гвоздев понял, что был арестован, лгал и убил Яголковского только из-за того, что боялся сознаться в своем ничтожестве, в ничтожестве „Синего Креста“. Это даже не совсем так по ходу рассказа, по ходу рассказа – Гвоздев вообще мразь как мразь, – он труслив, болтлив, лжив и от крайней трусливости способен на бессмысленное убийство, он непроходимо глуп и пошл, и из-за его глупой и пошлой лжи выглядывает, конечно, целая армия таких же Гвоздевых. Еще был бы какой-то социальный смысл и какой-то остаток социальной гордости, если бы человек „пострадал“ из-за нежелания признать ничтожество „Синего Креста“, но дело было не так. Сразу сознаться в ничтожестве этой организации и ничтожестве своей роли в ней Гвоздеву действительно не захотелось, а потом все пошло по глупой логике, ибо ведь, в самом деле, какое же человеческое достоинство может быть в том, что ради непризнания ничтожества организации „Синего Креста“ подлейшим образом наклеветать на целый ряд ни в чем не повинных и даже отчасти симпатичных Гвоздеву лиц. Все его поведение настолько лишено всякой тени чувства собственного достоинства или какой-нибудь идейности, что никак нельзя понять последних слов Са-

винкова как попытки психологического объяснения поведения его героя, желанием прикинуться значительным членом значительной организации.

Не в этом дело, и заключительную фразу повести надо понимать несколько глубже. Вообще все в Гвоздеве фальшь, несознательная и объективная фальшь. Ее-то Савинков и чувствует, ее-то он и стремится отразить в своем маленьком рассказе. Нет на самом деле никаких принципов, нет на самом деле никаких целей, нет никакой силы у организации, нет ровным счетом ничего. Есть тупая инерция, основанная на том, что большевики – разбойники и лжецы, и тупая инертная вера в какую-то Европу, которая поможет, – и за исключением этих выдумок все остальное сплошная дыра. Так же точно и в личном характере Гвоздева нет никакой последовательности. Художественно у Савинкова именно то, что поведение Гвоздева кажется реалистически допустимым в то время, как оно абсолютно нелепо. И вот это соединение правдолюбия и нелепости отраженным светом показывает нам всю беспредельную гнусность и пустоту Гвоздева. Нарисовавши такого химерического пошляка, Савинков без сомнения хотел сказать: вот кто они такие, вот кто они, в большинстве, эти белые, враги великой революции. Повторяю, надо было кипеть внутренней злобой против белых, чтобы написать эту вещь, далеко не лишенную художественной значительности.

Что касается большевиков, то они изображены здесь хо-

лодно и, так сказать, почтительно. Могут сказать, сидя в тюрьме у большевиков, мог ли Савинков относиться к ним иначе? Но это будет крайне поверхностное суждение. И здесь Савинков не изменяет известной художественной объективности, он ничего хорошего не говорит о Яголковском и его начальнике, он говорит, что эти люди сами очень много сидели в тюрьмах, сами очень много натерпелись в жизни, что они вносят в исполняемое ими дело не только суровость судебного долга хороших агентов какой бы то ни было власти, но некоторые особенности именно революционеров, прошедших через гонения и страдания и пришедших к власти ради этой, выстраданной долгими жертвами цели. Кто посмеет сказать, что это неправда и что в этом есть какое-нибудь искривление действительности?

Обстоятельства, сопровождавшие самоубийство Савинкова, известны мало. Быть может, причины, которые он высказал при этом, играли не столь исключительную роль, возможно, и какие-нибудь личные моменты, которые остались, а может быть, и навсегда останутся неизвестными широкой публике. Конечно, можно допустить, что Савинков, поняв призрачность дальнейшей борьбы с революцией, поняв, что фактически он пошел против всего, чему в меру своего понимания, но не без блеска, служил и что, принеся повинную голову революции, ожидал очень скорого изменения своей судьбы и предоставления ему той или иной более или менее ответственной работы, на которой он мог бы активно за-

гладить сознannую им вину перед историей. Возможно, что долгий срок, протекший со времени процесса, и холодная сдержанность Советской власти на всякие запросы о перемене судьбы могли привести этого гордого и сильного человека в отчаяние. В самом деле, не гнить же всю жизнь в тюрьме человеку подобной активности и подобного бешеного самолюбия. Савинков мог перенести что угодно, но только не презрительное забвение: такого поворота он мог действительно панически испугаться. Но с другой стороны, Савинков был человек далеко не глупый и не без выдержки. Не может быть, чтоб он не понял всю законность недоверия к нему, не может быть, чтоб он не предполагал, что со временем все может измениться и повернуться таким образом, что та или другая роль в революционном строительстве может выпасть на его долю. Но я оставляю совершенно в стороне попытки разрешения этой загадки. Для меня ясно только одно. Всякий из нас не мог не быть огорченным смертью Савинкова и не потому, что нам жаль его персонально, человек тот был – не только по своим полубелогвардейским идеям последнего периода, но и по общему тону прежних своих мирозерцаний – какого-то фанатического терроризма, а потом какого-то декадентского оплевывания своей партии, очень несимпатичен нам и чужд, а дело в том, что Савинков мог бы быть чрезвычайно полезен. Это я говорил уже в своей первой статье о Савинкове непосредственно после ареста.

Савинков очень много видел и очень много знал. Не счи-

тая его первоклассным талантом, нельзя не признать, что у него было известное беллетристическое дарование. Дарование это высказалось в довольно тонкой наблюдательности и язвительной остроумности, что очень сказалось в его недавней статье о Чернове. В некоторой общей нервной чуткости, которая легко позволяет откликаться Савинкову на все стороны событий, наконец, в довольно напряженной, местами даже захватывающей форме его повествований. Обладая таким количеством опыта и таким недюжинным пером, Савинков, несомненно, мог оказаться одним из интереснейших летописцев перипетий борьбы революции и контрреволюции.

Мы не знаем, что осталось как наследие Савинкова. Может быть, кроме маленького рассказа «В тюрьме», остались и другие рукописи. Во всяком случае, много томов интереснейших мемуаров, может быть, в художественной обработке унес с собою Савинков в могилу.

Рассказ «В тюрьме» не разочаровывает. Это, конечно, очень маленький очерк. Он не лишен серьезной значительности, но он еще раз показывает степень злобного презрения в отношении к своим недавним соратникам, душившего Савинкова, и дает лишние доказательства его литературной даровитости.

А. Луначарский



Внизу, во втором этаже, отчетливо раздались шаги. Полковник Гвоздев сел на койку, прислушался и начал считать: «Три... четыре... семь... девять...» Девять вперед, девять назад. Кто-то ходил по диагонали... «Новый жилец», – подумал полковник Гвоздев и стукнул несколько раз каблуком. Шаги прекратились. Он стукнул снова и подождал. Но снизу не отозвался никто, и опять стало одиноко и грустно. На секунду приоткрылся «глазок». В замке щелкнул ключ.

– На допрос.

У двери с короткой надписью «Яголковский» надзиратель остановился. Полковник Гвоздев потрогал шею и грудь. Пуговиц не было, и он нащупал обнаженное, поросшее волосами, тело.

Он поднял воротник пиджака и вошел.

Яголковский, молодой человек в черных крагах, улыбнулся и протянул ему руку. И оттого, что он был в черных крагах, и оттого, что он протянул ему руку, полковник Гвоздев еще острее почувствовал свою наготу. Жмурясь на солнце, он вынул папиросу и закурил. Потом искоса взглянул на большой портрет на стене. Портрет был Ленина. Ленин за столом читал «Правду».

– Вы ведь, Василий Иванович, состояли в тайном обществе «Синий Крест»?

– Состоял.

– И вы, кажется, заявили, что согласны указать его членов?

– Да, заявил.

– Почему же только за границей, а не в России?

– Я не предатель.

Яголковский внимательно посмотрел на него. Наступило молчание. За раскрытым окном продребезжала, проезжая, пролетка. Где-то, вероятно под крышей, чирикали воробьи.

– Я не предатель... – повторил полковник Гвоздев.

– Так, а вы все же подумайте, Василий Иванович...

Но нечего было думать. Он не мог сказать, что из подозрительного «Синего Креста» его выгнали за «пьянство и неповиновение начальству», и что он ничего не знает. Сознаться в этом – значило сознаться во лжи. Он опустил голову и стал рассматривать свои башмаки. Башмаки были казенные, крепкие, рыжие, с заплаткой на правой ноге.

– Я подумаю...

– Да, да, подумайте... Подумайте непременно...

На прощание Яголковский снова протянул ему руку и опять улыбнулся. Гвоздеву стало еще более не по себе: «Черт меня дернул... И какой я ему Василий Иванович?..» А когда, горбясь, он возвращался в свою камеру, № 50-й, ему казалось, что закоулкам и лестницам не будет конца.

Когда он остался один, он не лег, а упал на койку. Долго лежал неподвижно, потом встал и начал писать.

Он написал: «Гражданин Яголковский», но, подумав, зачеркнул «гражданин» и поставил «товарищ». «Товарищ Яголковский. Я готов умереть, но по чести и совести должен вам заявить, что никогда не буду предателем. У меня хватило гражданского мужества честно и всенародно покаяться в своих преступлениях: пусть рабоче-крестьянская власть нелицеприятно судит меня. Я полагаюсь на великодушные товарищей судей. Я уверен также, что они примут во внимание мое революционное прошлое: в 1910 году, командуя сотней, я отказался стрелять в рабочих. Я прошу уволить меня от показаний, касающихся лиц, живущих в России. По чести и совести я дать таковых не могу. 20 апреля. Василий Гвоздев». Он знал, что пишет неправду. Он не был готов умереть и даже не думал о смерти. Кроме того, не он отказался стрелять в рабочих, а его приятель, хорунжий Шумилин. «Ну да Яголковский не разберет... давно это было... – сказал он себе и повеселел... – Отстанут... Конечно, отстанут... Надо только твердо стоять на своем...» Он подошел к решетчатому окну и стал сбоку.

Он любил этот угол: через узкую щель щита краснели кирпичные стены, а по вечерам сверкал большой шарообразный фонарь. Было тихо. Полковник Гвоздев вздохнул. Но вот гулко и властно зазвонили в колокола. Их звон врывался в двойные рамы и бился о закрытую дверь. И сейчас же вспомнилась родная станица и приходская церковь святой великомученицы Варвары. Полковник Гвоздев поднял голо-

ву, стараясь увидеть небо. Он увидел серо-голубую полосу и перекрестился широким крестом.

Прошел день, потом еще день, потом неделя. Яголковский не торопился с ответом и не вызывал на допрос. Полковник Гвоздев ежедневно просил в записках «не отказать побеседовать с ним». Но он даже не мог проверить, доходили ли эти записки. Надзиратель молча, очень вежливо их принимал и молча щелкал замком. Сосед внизу не отзывался ни на какие стуки. Справа и слева соседей не было вовсе. Зато на подоконнике полковник Гвоздев нашел человеческий след: «Юрий Бельский». Каждое утро он подходил и разглядывал кривые, нацарапанные булавкой буквы, здоровался с ними. «И ты, брат, сидел... – с сочувствием думал он. – Да, брат, влопались мы с тобой... К черту в зубы попали...» И, разговаривая с этим неведомым, возможно давно высланным в Соловки, человеком, он почти не вспоминал жену и детей: «Они в Берлине... Им хорошо».

Рано утром он выходил в коридор – умывался. После чая сгущалась тюремная тишина, та тишина, когда воздух звенит в ушах. К ней он привыкнуть не мог. Он испытывал такую душевную тяжесть, точно опустилась стопудовая гиря и придавила его к земле. Иногда это ощущение было так сильно, что хотелось кричать. Даже мышцы радовали его теперь. Они прогрызли деревянную стенку и, шурша, шныряли по некрашеному полу. Книг не было. Были только газеты. Он читал их с пренебрежением: «Ведь коммунисты – разбойни-

ки и лжецы». Через две недели он бросил читать. Тогда стало еще грустнее.

Однажды вечером, после поверки, он почувствовал, что не в силах больше. Он сел и написал еще одно заявление: «В Коллегию ГПУ. Товарищи! Одиночество для меня пытка. Делайте со мной что хотите. Но по чести и совести заявляю, что если через трое суток я не буду освобожден, то лучше расстреляйте меня. Обращаюсь к вам с последней просьбой: мой нательный крест перешлите моему малолетнему сыну Михаилу, в Берлин. 24 мая. Гвоздев». Он знал, что и на этот раз говорит неправду: он не верил в расстрел. Просьба о нательном кресте умилила его. Он ясно представил себе своего старшего сына Мишу в матросской шапке с золотой надписью «Konig» и вытер пальцем слезу. Засыпая, он горячо молился: «Господи, помоги... Господи, помоги...» Ему было жалко себя, и он надеялся, что и другие пожалеют его. Он забывал, что обращается к людям, которые сами долгие годы сидели в тюрьме, что он расстреливал прежде безоружную толпу этих людей.

На дворе начался ремонт. Уже не было тишины. Звонко выстукивал молоток, и где-то, правее и ниже, ему медлительно вторил тяжелый и грузный молот. Сыпалась штукатурка. Рабочие пели, и полковник Гвоздев, лежа на койке, слушал:

Поп Сергей,
Дьяк Сергей,

Пономарь Сергей,
И дьячок Сергей,
Вся деревня Сергеевна
И Матрена Сергеевна
Разговаривают...

И ему хотелось солнца и улицы, и было по-детски обидно, что рабочие вечером вернутся домой, а он останется здесь, в камере № 50.

В начале июня Яголковский вызвал его наконец на допрос. Пока он шел по коридорам, он повторял себе, что «скажет в лицо всю правду», то есть скажет, что «так смеяться над живым человеком нельзя». Но когда, нечесаный и небритый, с раскрытым воротом казенной рубашки, он увидел в окно голубое небо, портрет Ленина на стене и черные блестящие краги, он забыл о своем решении. И как только Яголковский протянул ему руку и участливо спросил о здоровье, он забормотал, захлебываясь и не находя нужных слов:

– Товарищ следователь... Вы вот думаете, что я запираюсь, не хочу давать показаний... По чести и совести... От чистого сердца... Поймите, товарищ, что я отошел от белых... какой же я монархист, если я здесь... с вами... Я готов... Я всей душой готов.

– Если вы искренни – очень хорошо, – сказал Яголковский и позвонил. – Дайте стакан воды. Василий Иванович, я слушаю вас.

Полковник Гвоздев молчал. Он вдруг понял все легко-

мыслие своих обещаний и отвернулся к окну. «Что же... что ему рассказать?..» – подумал он, и у него похолодели колени.

Яголковский был доволен. Он знал, что дело «бывшего полковника Гвоздева» предполагается прекратить ввиду того, что «Синий Крест» был никому не нужным сборищем «заштатных сенаторов», выброшенных революцией на асфальт рижских кварталов. О деле с ним советовался вчера его начальник. Но Яголковский настоял на допросе. Кто знает?.. Он не доверял «обвиняемому Гвоздеву» и «принципиально» был против «скороспелых» постановлений. Так повелевала его революционная совесть – совесть человека, трижды раненного на разных фронтах. И сегодня он решил еще раз допросить полковника Гвоздева. «Если не скажет ничего ценного, то черт с ним...»

– Эмигранты вас ругают, а вы церемонитесь с ними, – сказал он.

Это была правда. Гвоздев знал, что его ругают, но все же спросил:

– А очень ругают?

– О, еще как...

– Ну, тогда я все расскажу...

Эти слова у него вырвались против воли. В ту же минуту он спохватился. Он даже начал: «Товарищ...» Но Яголковский взял перо и приготовился записывать под диктовку. И тогда произошло то, чему полковник Гвоздев сам удивлялся потом. Он стал припоминать своих приятелей и знако-

мых, – товарищей по училищу и полку. Тех, кого он встречал на фронте. Тех, с кем жил за границей. Наконец, случайных, мало известных ему людей: судью в Киеве, учителя в Екатеринославле, священника в Туле и даже барышню из цветочного магазина, за которой он ухаживал лет восемь назад. Он называл имена и фамилии, изобретал конспиративные явки и выдумывал правдоподобные, легко запоминаемые пароли. Он не ограничился этим. Он в подробностях сообщил о заговоре в Москве, о «пятерках» в красных частях, о связи с «зелеными» на Кавказе, о якобы вездесущем и всемогущем «Синем Кресте», секретарем «верховного комитета» которого состоял он, полковник Гвоздев. Он лгал вдохновенно. Он не только лгал, но и хвастал, и не щадил никого, даже родных. «Чем больше наговорю, тем труднее будет им разобраться... Да и не станут они разбираться... Такому, как я, поверят на слово и, конечно, сейчас же освободят...» Так в редкие минуты сознания успокаивал он себя... Долго, до поздней ночи, сидели они друг против друга. Полковник Гвоздев говорил, размахивая руками, а Яголковский записывал и тихо улыбался. И, глядя на них, можно было подумать, что это не следователь и заключенный, а двое добрых, оживленно беседующих друзей.

Полковника Гвоздева, жаловавшегося на зрение, перевели в камеру № 7. Светлая и просторная, она показалась ему дворцом. Он выписал из тюремной библиотеки книг: Конан Дойля и для «серьезного чтения» – зоологию, том первый.

Он, пользуясь болезненным состоянием, добился разрешения получать вино. Он пил его скупно, маленькими глотками и, выпив, объяснял надзирателю, что болен и что вино помогает от нервов. Его водили в баню и на прогулку. Гулял он в небольшом тюремном дворе, вдоль высоких стен, обнесенных наверху частоколом. В левом углу была построена будка. В будке дежурил красноармеец. В синем шлеме он был похож на средневекового копьеносца. Иногда приходила смена. По лестнице неуклюже, как медвежата, карабкались такие же неуклюжие часовые. Полковник Гвоздев с изумлением смотрел на их крепкие сапоги, рубахи, под сумки и пояса. «Создали армию, черт бы их взял... Пожалуй, и в самом деле не боятся Европы?» Временами наплывала тревога. Но солнце так по-деревенски жгло ему щеки, но в цветнике так мирно зеленела трава, но надзиратель был так спокоен и вежлив, что тревога его исчезала. Ему казалось тогда, что не было, да и быть не могло ни тишины, ни мышей в камере, ни нацарапанной надписи «Юрий Бельский». Но проходили законные полчаса, и опять щелкал ключ. Полковник Гвоздев оставался один. И одиночество тяготило его.

Об освобождении все еще не было речи. «Формальности, пустяки... – говорил себе полковник Гвоздев. – Это ничего, что я им наврал. Ну, арестуют человек двадцать, убедятся, что они ни при чем, и отпустят, а если кто и пострадает, то, значит, так суждено». И, шагая из угла в угол, как некогда его безымянный сосед, он размышлял, где найти валюты

для «драпа» и как «драпануть» в Финляндию или Польшу. «Покамест разберутся, я уже за границей буду. Ау!..» А после проверки, когда в коридоре затихали шаги, он, кончая бутылку портвейна и чувствуя, как кружится голова, сладко мечтал о запретной берлинской жизни, – той жизни, которая еще недавно была для него ежедневным мелочным адом.

Раза три его вызывал Яголковский, и однажды вызвал начальник Яголковского. Дело шло о недосмотрах в его показаниях. Как фамилия киевского судьи? Где живет барышня из цветочного магазина? Кто участвует в заговоре из чинов Воздушного флота?.. Полковник Гвоздев с готовностью делал поправки, пояснения и дополнения. Яголковский кивал головой, записывал и давал подписаться, а старший начальник, бритый и лысый пожилой человек в очках, спокойно спрашивал, уверен ли он, не напутал ли, не сделал ли невольной ошибки.

Был июль на исходе, стены дышали жаром, в цветнике вырос и распустился подсолнух, и полковник Гвоздев тревожился иногда: «А вдруг проверяют?» Он гнал эту мысль. Он зачитывался Конан Дойлем и старался не думать. Но теперь тревога возвращалась настойчиво и упорно. Однажды ночью он проснулся в поту. Он сел на койку и, затаив дыхание, стал ждать. Чего он ждал, он бы не сумел объяснить. Вокруг было тихо. Но никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным и всеми забытым. Когда-то, на Южном фронте, далеко, на красных тылах, у него захромала лошадь. Он от-

стал от полка и пешком побрел по дороге. Колыхалась необозримая, уже спелая, ярко-желтая рожь, да сильно пахло полынью. И не было никого. Он был беспомощен и заброшен. Так и теперь. И теперь даже хуже, гораздо хуже. Он попытался заснуть, но было душно. А в ушах раздавались выстрелы, предостерегая и угрожая.

В середине августа его пригласил на допрос старший начальник. На этот раз полковник Гвоздев шел бодро, почти уверенный, что не сегодня завтра освободят. Эта успокаивающая уверенность выросла в последние дни. Она выросла потому, что уже давно прогулка длилась не полчаса, а значительно больше, что ему поставили в камеру новую лампочку. Он нанизывал эти мелкие домашние признаки и делал из них утешительный вывод, – тот именно, которого страстно желал.

– Садитесь.

Полковник Гвоздев закурил и попробовал улыбнуться.

– Жарко сегодня, товарищ...

Начальник строго взглянул сквозь очки.

– Вы нам сказали неправду.

– То есть?.. То есть как это, товарищ?..

– Вы не знаете как?.. Вы говорили, что ручаетесь за каждое ваше слово. А вот, полюбуйтесь сами.

Он протянул ему справку. Справка сухо гласила, что бывший мировой судья гор. Киева, Александр Петрович Авдеев, скончался в 1917 году, в январе.

– Вы ведь его называли?

– Я... Нет... Да, кажется, называл...

– Ну-с?

Полковник Гвоздев развел руками.

– Не понимаю... По чести и совести. Не понимаю, товарищ... Здесь какая-то ерунда.

– Именно ерунда... – подтвердил начальник и порылся в столе. – А вот еще документ.

Документ, доказывающий, что пароли «Синего Креста», сообщенные Гвоздевым, явно дуты.

– Ну-с?..

– Товарищ... Клянусь честью, товарищ!.. Что же это такое?.. Это черт знает что!..

– Да, черт знает что... Ну-с, а что вы скажете насчет гражданки Пальчевской?

Полковник Гвоздев внезапно вспомнил магазин на Кузнецком – влажный запах оранжереи, ирисы и магнолии и за причудливыми цветами смеющиеся глаза. Он побледнел и ничего не ответил.

– Я вас спрашиваю.

– Да, да, товарищ... Сейчас. Я утверждаю. Я продолжаю утверждать, что гражданка Пальчевская дважды приезжала в Берлин...

– Зачем?

– Для свидания... Для свидания со мной... По делу...

– Вы уверены?

– Совершенно уверен...

– Хорошо-с. Угодно очную ставку?.. – И, не ожидая согласия, начальник приказал в телефон: – Приведите Пальчевскую.

Теперь они оба молчали. Начальник, не торопясь, снял очки, дунул на них и начал старательно вытирать платком. Платок был клетчатый с красной каемкой. Полковник Гвоздев неподвижно сидел на стуле. Он понял, что попался с личным. «Не выкрутиться... Погиб...» И он покорно и тупо ждал. Но когда он увидел худую женщину в поношенной юбке и давно забытое, теперь уже немолодое лицо, он последним остатком воли стряхнул наваждение.

– Софья Андреевна, не узнаете?

– Узнаю.

Она сказала это спокойно и посмотрела ему в глаза.

– Вы помните, что мы виделись с вами в Берлине в прошлом году?

– Я не ездила никогда в Берлин.

– Нет, вы ездили... Вы были два раза: в январе и в апреле.

– Вы ошиблись: я жила все время в Москве.

Он закашлялся. Потом отвернулся. Снова вспомнились причудливые цветы. И все-таки он сказал:

– Неправда.

Она пожала плечами. Начальник подал ему бумажку – удостоверение домового комитета. В бумажке значилось, что гражданка Софья Пальчевская состоит в Наркомпросе на

службе и не выезжала пять лет из Москвы. Полковник Гвоздев смотрел на крупный, писарский почерк, и буквы прыгали, и стирались, и пропадали совсем. Как сквозь сон он услышал:

– Гражданка Пальчевская, я вас не стану более задерживать.

Начальник спрятал платок и зевнул. Дело «бывшего полковника Гвоздева» давно надоело ему. Дело было несложное. При возвращении в Россию ему обещали прощение – значит, надо простить. Обвиняемый врал – по глупости и из страха. Ложь окончательно вскрылась сегодня. Ну, и нечего волынку тянуть... Начальник помнил царские тюрьмы, Сибирь, этапы и Акатуй. «Вот такие нас и ссылали... А теперь трясутся и врут... И сколько лишних хлопот. Мразь».

– Вы будете высланы в Нарым.

– Товарищ!.. Еще раз, по чести и совести. Товарищ, я говорю: все мои показания – святая правда... Я мог... Я мог ошибиться, конечно. Например, я спутал фамилию судьи... Я припоминаю теперь: его фамилия не Авдеев, а Алексеев... Но учитель Штраль, например, контрреволюционер... И Пальчевская тоже... Я настаиваю... Я категорически настаиваю, товарищ...

Полковник Гвоздев говорил как в бреду. Он говорил с единственной целью выиграть время. Его пронизала сумасшедшая мысль. Его обманывают, его расстреляют этой же ночью. Он с отчаянием боролся с судьбой и добивался от-

срочки. Ему казалось, что этим он спасал свою жизнь. Так он думал, по крайней мере... Он очнулся только тогда, когда, после долгих просьб, доказательств и убеждений, начальник погладил лысину и равнодушно сказал:

– Извольте. Мы еще раз проверим.

Вернувшись в камеру, полковник Гвоздев выпил залпом стакан вина: «Надо все обдумать... спокойно и хладнокровно... Главное хладнокровно». Руки его дрожали. Он лег. В путанице, разумеется, виноват не он. Виноват начальник и Яголковский. Они обманули... В чем именно был обман, он бы не мог ответить. Но он уже искренно верил, что он – невинная жертва. Он забыл о своей лжи. Ему казалось, что он лишь немного отклонился от правды, – ровно настолько, чтобы ускорить дело... А они пользуются его положением и нарочно дразнят и губят его... Когда он заснул, он сначала спал как убитый, но под утро ему привиделся сон. Сон был четкий и такой похожий на явь, что полковник Гвоздев даже вскрикнул. Ему снилось, что надзиратель принес газеты и, уходя, забыл его запереть. Он на цыпочках, сняв сапоги, заглянул в коридор. Было пусто. Желтым светом горели лампы. Он пробрался к уборной. У уборной он подождал, прислушиваясь и не решаясь. И внезапно, изогнувшись, как кошка, кинулся на площадку. На площадке не было часовых. Он бегом спустился по каменной лестнице вниз, все ниже и ниже, сначала в баню, потом в подвал, потом куда-то еще ниже подвала, в какую-то четырехугольную башню. В этой

башне, прижавшись к стене, стоял человек. Он заметил его лицо. Это был хорунжий Шумилин, тот самый, который отказался стрелять в рабочих. Хорунжий Шумилин вынул нож и погнался за ним. Он обежал кругом башни, с внутренней ее стороны, вдоль кирпичных, облупленных стен. Выхода не было – ни ворот, ни даже окна. Так кружились они, кружились долго и безнадежно, и полковник Гвоздев не мог убежать, и хорунжий Шумилин не мог ударить его ножом. Но нож был тут, за спиною: «Беги... беги... беги...» И полковник Гвоздев повторял: «Надо бежать... надо бежать... надо бежать...»

«Надо бежать...» – подумал он вслух и открыл глаза. Щелкнул ключ. Надзиратель просунул метлу. На дворе рабочие пели:

Поп Сергей,
Дьяк Сергей,
Пономарь Сергей,
И дьячок Сергей,
Вся деревня Сергеевна
И Матрена Сергеевна
Разговаривают...

Полковник Гвоздев начал наскоро подметать под столом, он мгновенно остановился и провел рукою по лбу. Он вспомнил, он вспомнил то, что было вчера, – очки начальника, клетчатый с красной каемкой платок и очную ставку. «К сви-

ням собачьим... Погиб...» Он снова лег и зарылся с головой в подушку. Он лежал без движения, пока опять не щелкнул замок:

– Возьмите чай.

Он поднялся и нехотя подошел. Но когда, расставив широко ноги, он лил из тяжелого чайника кипяток, и пар, клубясь, обжигал ему пальцы, он уже думал о бегстве. «Если человек хочет, то может... Только бы пропуск достать...» Он отказался идти на прогулку и целый день, без отдыха, шагал по диагонали: из угла в угол. Он не ел ничего, пока не стемнело и не вспыхнула «новая» лампочка – наивный признак освобождения. Стало больно глазам. Он прищурился на белый огонь и решил: «Надо бежать с допроса».

Через неделю его вызвал к себе Яголковский. Яголковский вызывал его, чтобы объявить постановление коллегии о «высылке гражданина Василия Гвоздева в Нарым». Но теперь полковник Гвоздев был так же уверен, что его расстреляют, как уверен был раньше, что не сегодня завтра освободят. «Они-то? Звери!.. Они не могут не расстрелять...»

Он сунул бутылку портвейна в карман и вышел. Он не испытывал ни слабости, ни волнения. Наоборот, сердце как будто сжалось в комок и, окаменев, перестало биться. Он знал в себе эту действенную решимость. Так ходил он на проволоку, в конном строю.

Яголковский был утомлен и не в духе. Но он все-таки улыбнулся и ласково предложил садиться. Полковник Гвоз-

дев не сел. Он остановился у письменного стола и отрывисто, почти грубо, сказал:

– Я болен, товарищ... Разрешите выпить вина...

Он поставил бутылку с краю, на книгу в серой обложке. На обложке было напечатано: «Фридрих Энгельс». «Ишь ты, за литературой следят...» – усмехнулся полковник Гвоздев, пощипывая усы. Яголковский с удивлением взглянул на него:

– Что с вами? Вы нездоровы?

– Нервы, товарищ... Нервы...

– Вы бы обратились к врачу.

«Зачем он врет? – подумал полковник Гвоздев. – Какой к черту врач?.. Расстреливают, а туда же, говорят о враче...» Но он ничего не сказал и, нахмурясь, посмотрел сверху вниз. Он смотрел на голову Яголковского, молодую, с белокурыми волосами. Надо бежать: «Р-раз... И готово дело»... Яголковский спешил окончить допрос и вернуться домой. Теперь он тоже был убежден, что «обвиняемый» ничего не знает и заврался зря в показаниях. А если так, то и возиться с ним нет расчета... Он наклонился к столу и начал быстро писать: «По постановлению тройки коллегии гражданин Василий Гвоздев высы...» Но полковнику Гвоздеву пора было действовать. Он схватил бутылку. Секунду подержал ее на весу, как бы пробуя ее тяжесть и не смея решиться. И вдруг размахнулся и, стиснув зубы, изо всей силы ударил по голове. Бутылка, звеня, разбилась. Яголковский охнул и грудью упал на

стол. Полковник Гвоздев увидел проломленный череп, залитое кровью лицо и разбрызганные на зеленом сукне осколки.

Пропуск у мертвого Яголковского был в кармане. Но о пропуске полковник Гвоздев забыл. Он не знал, чем вытереть мокрые руки. Они мешали ему и пахли вином... «Как же быть?.. Как же быть?..» В соседней комнате не было никого. Он повернулся и бросился в коридор. Перепрыгивая через ступени, он почти скатился по лестнице вниз, все ниже и ниже, – как ночью, тогда, во сне. На последней площадке он перевел на мгновение дух и кинулся наугад направо. Он бежал теперь без цели и смысла. Уже раздавались крики и гулкий топот сапог. И, не рассуждая, больше всего боясь оглянуться назад, он толкнул тяжелую дверь. Он увидел облако табачного дыма и в синем дыму незнакомых людей. Их было много. Они с шумом отодвинули стулья и уставились на него – на его окровавленные руки.

Сопротивляться он не хотел и не мог.

Он пришел в себя у начальника в кабинете. Он сидел на диване, а начальник протягивал ему стакан с холодной водой. Но зубы его стучали и лязгали о стекло. И все еще пахло вином.

– Вы в состоянии говорить?

– Да... Товарищ, поймите... Нервы...

– Ну-с?

– Я был не в силах...

– Что не в силах?

– Не в силах больше терпеть... Одиночка... И все время ожидаешь расстрела...

– Какого расстрела?

Полковник Гвоздев посмотрел непонимающими глазами. Что-то больно кольнуло сердце... «Как? Неужели?.. Что же это такое?..» И он, волнуясь, начал говорить о мучительной тишине, о том, что он «живой человек».

– Поймите же, поймите, товарищ... Разве так можно?.. По чести и совести... Я... – Он закрыл руками лицо и всхлипнул. – Я извиняюсь...

Начальник поморщился. Болвана освобождают, а он... И что за глупое бегство?

Оттого, что начальник не приказал его увести, а главное, оттого, что он внимательно слушал, полковник Гвоздев снова принялся лгать, как лгал на допросах. Теперь он винил Яголковского в покушении. Он винил его в пристрастии, в высокомерии, в грубости, в нравственных пытках... И чем дальше он говорил, тем больше верил в свою правоту и тем сильнее разгоралось желание убедить и спастись.

– Только на вас... Только на вас полагаюсь, товарищ... Теперь я все расскажу... Всю правду... Я не хотел рассказывать под угрозой... А вам я все расскажу...

Полковник Гвоздев остановился и прочел в глазах начальника презрение.

И только теперь он понял, что был арестован, лгал и убил Яголковского только из-за того, что боялся сознаться в своем

ничтожестве, в ничтожестве «Синего Креста».